Александр ГОРОХОВ

ФАРФОРОВАЯ КУКЛА

Иван Федорович выключил свет. Лег спать. Начал уходить в сон. Зазудел комар. Иван Федорович отмахнул рукой. Тот затих. Но сон ушел. «А сколько живут комары? — подумал Иван Федорович, потом ещё подумал и решил: — Должно быть, недолго, — поворочался и снова подумал: — Разбудил, сволочь. Говорят, что кровь пьют только комарихи».

Вздохнул и стал делать то, чего люди обычно не делают, а если случается, то весьма редко — стал размышлять: «Как это в тундре живут. Там же этого комарья и мошки — тучи. А как терпят олени? Жуть. Говорят, разведчикам выдают специальные майки из толстых веревок, чтобы комары носом своим не дотянулись до тела. А у нас никому не выдавали». На этом месте мысли закончились, Иван Федорович вздохнул, повернулся на другой бок. В голове, непонятно почему, вдруг запело то, что давным-давно пели пацанами в подъезде. Теперь поют про другое, в подъездах вообще не поют, а запомнилось то, давнее:

По тундре, по железной дороге,
Где мчится курьерский Воркута — Ленинград,
Мы бежали, два друга, уходя от погони,
Уходя от погони и криков солдат...

«Черт-те что, какой-то мелкий комаришка, а весь сон перебил. Сколько же эти твари живут. Небось, не больше двух дней. Напьется крови, личинки выбросит, и всё. И сдохнет. Говорят, что беглые зэки назад возвращались — не выдерживали гнуса. Приходили опухшими от укусов. Полумертвыми. Скрыться от этой нечисти некуда было. Хорошо, что мне не там служить довелось. Всё в горах, пустынях да на Дальнем Востоке. Но у нас терпеть можно было, — Иван Федорович повернулся лицом к стене. У соседей было тихо. — Перебил, зараза, весь сон перебил, — ворчал Иван Федорович. — А там, на севере, летом вообще ночи нет. Солнце не заходит. Дойдет до горизонта, на сколько-то минут сгинет, а потом снова светит». За ночь Иван Федорович измаялся и только под утро задремал. Потом уснул...

— Галька! Галька, выходи! Я больше не буду! Прости родная! — заорал поддатый парень. — Хочешь, я тебе спою! — и, не дожидаясь согласия, заорал: — Сам себе казался я таким же клёном, только не опавшим, а ваще зеленым.

Галька молчала, дом просыпался. Субботний утренний сон, целую неделю ожидаемый, как несбывшаяся мечта, обломился. Иван Федорович встал, не открывая глаз пошарил в тумбочке, нашел, выдернул чеку, подошел к окну, открыл створку, потом открыл глаза, зевнул, увидел разбудившую гадину, крикнул:

— Получи, фашист, гранату, — кинул. Когда стихло, под одобрение соседей пошел досыпать. В полусне ругнулся. Поворочался. Вспомнил про ночного комара, сказал: — И ты, сволочь, дождешься.

Заснул. Ненадолго. Запричитал дворник:

— Совсем одурели! Они тут, панимаишь, орут, а я их убирай. Они гранаты, а кто асфальт оттирать будет? Никто. Опять Санджа. Платют три копейки, а сделай им и то, и это. Уеду, домой уеду. Аллах свидетель, до получки доубираю и уеду. Совсем одурели. Они бабах, а Санжа патом убирай! Домой уеду.

Настроения совсем не стало. Во сне Иван Федорович снова ругнулся, вздохнул и забылся.

По улице шел пьяный робот и горланил:

— Сам себе казался я таким же клоном, только не... — на этом месте бедолага споткнулся, покатился, скрипя смесью железа и пластика, по асфальту. Поднялся, вошел во двор и заорал: — Гайка! Выходи! Я больше не буду! Прости, родная!

В окне прогромыхало, и на асфальт грохнулась тележка. Потом завоняло ацетоновой краской. Потом вывалилась подкрашенная наблестюченная Гайка. Они обнялись и, шурша подшипниками, укатили.

Комар бился о стекло, пытался оказаться там, в другом мире. Вдруг в его глазах сложилось, увидел улицу, засмотрелся. Ужаснулся. Замолк. Должно быть, задумался. Иван Федорович тоже задумался. Решил, что не могут пить кровь только комарихи. Не могут. Кто только у нас кровь не пьёт, а у этих только комарихи. Так не бывает.

Снова подумал, что так не бывает — чтобы он и вдруг в одной постели с фарфоровой куклой!

Она появилась, должно быть, не так давно. Точно, что раньше её здесь не было — сразу бы увидели. Потому что приметная. У нас даже самые длинноногие модницы одинаковы. Стандартные платья со стандартной крутой этикеткой фирмового магазина, сляпанные в вонючем подвале нелегалами из ближней Азии. Туфли с каблуками выше двухэтажного дома — из другого подвала. Прически из прошлогоднего номера журнала, срисованные парикмахершей Танюхой или Каринкой с красотки на затертой блестящей обложке. Если модно желтое — все желтые, красное — все красные. А вообще-то все всегда серые и одинаковые. Как штампованные сковородки. И модницы, и вообще.

И трепня до полуночи возле круглосуточного магазинишки в подвале пятиэтажки об одном и том же. Пузырь водяры разольют по пластиковым стаканишкам, девицам добавят тархуновой или пепсиковой шипучки, и пошел треп ни о чем. Бу-бу-бу, ду-ду-ду, ля-ля-ля... В подвале вообще-то ничего алкогольного никогда не продают. Только воду. Минералку, «Тархун», «Пепси». Гы-гы. Это знают все. Даже менты. Потому всю ночь страждущие и съезжаются на проржавевших иномарках или наших драндулетах. А потом тут и остаются. Добавляют, когда закончится пойло. И треплются.

Все затюканы. Все одинаково курят, одинаково пьют, одинаково остроумят. Одинаково над одним и тем же ржут. Одинаково закусывают. Одинаково живут. Короче, всем хреново. Лучше сдохнуть, чем так жить. В безденежье, бессмысленной тупой работе или, наоборот, на шее у старухи матери, на её смехотворную пенсию, потому что негде найти нормальную работу. В общем, живут в беспросветности.

Когда наши её увидели, сложилось сразу: «Фарфоровая кукла». Действительно. Белое напудренное лицо. Нарумяненные щечки. Пухленькие маленькие накрашенные губки. Огромная начесанная прическа. Шляпка, сойти с ума, как только такое могло прийти в голову — с черной сеткой-вуалью. Большие голубые глазища. Ну, точно — фарфоровая кукла. Кто первый назвал — неизвестно. Должно быть, все сразу.

Иван Федорович тоже с первого раза определил — фарфоровая кукла. Хотел сказать: «Мадам, купите в гастрономе кило мозгов, вставьте где не хватает, а потом по улицам в таком виде гуляйте, а то народ может и...» — но промолчал. Взрослый мужик, а застеснялся, покраснел, подумал: «Вот дуреха несчастная. Тяжело ей тут будет. Белых ворон у нас не любят. Заклюют», — и сказал:

— Здравствуйте.

Она ответила. И всё. Разошлись. Потом долго, с полгода, не видел. Увидел зимой. Был выходной. Утро. На улице никого. Жуткий гололёд. И она. Шла в ботиночках на восьмисантиметровых каблуках-шпильках. Наступала осторожно. И все равно грохнулась. Пакет пластиковый сперва подлетел вверх, потом хлобысь! И потек из него зеленый яблочный сок. Вот кукла! Ну, кто у нас пьёт яблочный сок. Никто. Уже молчу про каблуки в гололёд. Это вообще ни в какие ворота. Идиотизм. Ногу поломала. Лежит. Потом села. На глазах слёзы замерзли. Молчит, не ревет, не стонет. Молчит. А слезы текут и замерзают. И сок течет и замерзает.

Пришлось подойти, вызвать скорую. Себя назвать. Потом адрес. Без этого не приехали бы. Отвез. На тележке санитары доставили в приемное отделение. Ворчливая старуха-врачиха долго осматривала. Иван Федорович томился. Ждал за дверью. Пытался сопроводить до палаты. Не пустили. Он перекрестился, ушел домой и почти забыл про этот свой казус.

А она, когда выздоровела, узнала, где живет, приперлась спасибо сказать. Бутылку вина с кучей медалей на этикетке принесла и пакет с апельсинами. Господи, точно не от мира сего. Купила тут у нас в гастрономе. Там на пойло такие этикетки ляпают, что хоть на банкет к президенту иди. Только бабки плати. Одним словом, чего с неё взять, убогая на бошку. Ничего не понимает. Непрактичная.

Посидели, помолчали. Иван Федорович, не зная, чего сказать, предложил чаю. Пока чайник закипал, выпили винишко. Постепенно, с трудом, но разговорились.

И верно, как думал, так и оказалось. Не от мира сего. Закончила консерваторию. Пела в опере. Публике понравилась. Стала примой. Куча поклонников. Успех и всё такое. На гастролях простудилась. Заболела. Нет бы дурёхе отлежаться, упросили эти, которые всё устраивали, их пожалела, вошла в положение — допела положенные концерты. И тю-тю. Пропал голос. Лечилась. Долго. Делала, что положено, полоскала, всякие там процедуры. По светилам медицинским ходила. Уйма времени впустую. Не помогло. Поклонников как ветром сдуло. Один остался. Военный. Офицер. Раньше бы

не рискнул, а тут предложил руку и сердце. Поженились. Её любил. Видать, по-настоящему. Тут ей повезло.

Объездила с мужем всю страну. Он служил. Она заведовала армейскими клубами, учила детей пению, руководила самодеятельными хорами. Поначалу, за глаза, над странной примадонной без голоса подхихикивали, потом, когда узнавали поближе, принимали, наверное, любили. Плакали, когда расставались. Писали письма. Рассказывали о своих делах, как кто из знакомых живет. Но не было места за долгую службу, которое увидала бы и сказала: «Здесь я хочу жить. Всегда».

В конце службы мужа, уже полковника, перевели сюда. Обещали и её устроить в гарнизонный дом офицеров. По должности должны были дать приличную большую квартиру в центре, в новостройке. Они с мужем ходили смотреть. Гуляли по городу, по набережной и в один голос сказали: «Здесь я хочу жить! Всегда». Удивились, обнялись, и она внезапно поняла, что любит этого человека. Любит того, с кем прожила всю жизнь, и не знала, что любит. Не знала потому, что думала больше о своем потерянном голосе, других мелких бедах. Принимала его любовь, относилась к нему по-доброму, скорее как к другу, который помог в трудный час. А теперь вдруг поняла, что любит. Она стала дома напевать, почувствовала, что голос возвращается. Муж обрадовался. Размечтались, как будет выступать, петь в местном театре. В семье наступило счастье.

Но муж умер. Внезапно. Стоял, разговаривал с офицерами, шутил. Засмеялся, вдруг стал оседать на асфальт и умер. Врачи сказали — оторвался тромб. Умер мгновенно.

На похоронах оркестр сыграл что положено. Солдаты выстрелили из карабинов. Командиры сказали слова. Она стояла возле гроба и не плакала. Как будто там был чужой, незнакомый человек. Она не понимала, что случилось. Не понимала, как теперь жить. Да и зачем... Начала считать себя виноватой в его смерти. Вспоминала, выискивала случаи, когда обижала своего любимого. Замкнулась. Стало не до песен. Голос снова пропал. Вернее, не пропал, а он ей оказался ненужным. О квартире в центре, само собой, никто уже не говорил. Но всё же добрые начальники пожалели и дали однокомнатную. Тут.

Надо было заполнять время, занимала себя мелкими заботами. Перекладывала вещи, расставляла мебель. Выходила за едой. По привычке покупала на двоих, готовила, наливала в две тарелки и потом, когда понимала, что мужа нет, что из его тарелки никто не съест, плакала.

Однажды в магазине встретила сослуживца мужа. Тот помог донести нетяжелую сумку с продуктами. Напросился в гости. Через день пришел с бутылкой коньяка. Она сначала не поняла, чего это он пришел, потом дошло. Возмутилась, проревела ночь. Наутро посмотрелась в зеркало, увидела, что еще весьма эффектна и такие любители будут и будут. А ей этого не надо. Она жила любовью к мужу, пусть поздно понятой, но настоящей. Взгляды, ухаживания и флирт чужих людей ей были неприятны, даже думать о них было противно. Захотелось стать неприметной некрасивой теткой, которую никто не замечает, никто не пристает, не лезет с ухаживаниями, расспросами, предложениями.

Вспомнила давнишнюю театральную жизнь. Вспомнила, как служила после консерватории в театре оперетты, играла молоденьких дурочек и комических старух. Впервые после похорон мужа засмеялась, подмигнула зеркалу и в старых чемоданах нашла концертные наряды. Оказались не узки и не широки, а как раз впору. Нарядилась, чтобы выглядеть дурковато. Придумала походочку и... стала Куклой. Отвадила этого, а другие, увидев её такой, не стали и приставать. Так избавилась от возможных ухажёров. Рассказывала свою историю Кукла со смешком, будто говорила не о себе. Потом замерла, стала настоящей, глянула на часы, встрепенулась, сказала, что засиделась, что пора идти, заторопилась домой.

Иван Федорович подал гостье пальто, потом не удержался и спросил:

— А чего теперь не поете? Говорите вроде бы нормально, а чего петь?

Кукла вздохнула, покачала головой, сказала:

— Понимаете, говорить — это одно, а петь... — и развела руками.

— А чем же вы занимаетесь? — спросил Иван Федорович, не из вежливости, не чтобы продолжить беседу, а по-настоящему, искренне. Кукла пожала плечами, вздохнула, сказала:

— Пенсию за мужа небольшую дают. Так, живу потихонечку. Хотела в Доме пионеров, или как он теперь называется, кружок пения вести. Не взяли. Сказали, что штат заполнен. Я в коридоре постояла, послушала — ужас. Уважаемый Иван Федорович, они там калечат молоденькие голоса. Буквально уродуют. Вздохнула, махнула рукой, попрощалась, ушла.

А Иван Федорович походил по комнате, удивился, что распереживался, и вспомнил, как слыхал лет десять назад про старуху-знахарку, которая ото всего людей вы-

лечивала. Непонятно с чего, но опять жалко ему стало эту дурёху. Посомневался день и пошел к знакомым, которые знали, где знахарку найти. Долго вспоминали. Потом, после третьего стопаря, вспомнили, что старуха давно померла. А Иван Федорович завелся, нудил, нудил, пока знакомец не просветлел от совместно выпитого и объяснил, где та жила.

Нашёл. Старуха, действительно, давно померла. В доме теперь жила её дочка. Между прочим, врачиха. Да не просто, а по ухо-горло-носу. Это, как понял Иван Федорович, была судьба. Рассказал дочке, что лечился у её матери. Слегка приврал, но врачиху растрогал, и та согласилась посмотреть Куклу. Удивляясь себе, уговорил и Куклу. Та долго не соглашалась, но у Ивана Федоровича на такие дела была хватка бульдожья. Уговорил. Пришли. Дочка-ларинголог осмотрела, покачала головой, повздыхала, сказала, что лечили её дебилы, хотя и профессора. Иван Федорович при осмотре присутствовал, обрадовался словам про дебилов-профессоров и врачихе поверил.

После осмотра Иван Федорович не отстал и уговорил Куклу начать лечение. Полоскания, диеты, но больше у Куклы с врачихой были обычные разговоры. Чаёк попивают и болтают, смеются, ругаются, а то плачут обе. Дочка знахарки по секрету ему сказала, что связки поправить не проблема. Важнее убедить пациентку, что она сможет петь ещё лучше, чем когда была примой. И вылечила!

Стала Кукла тренироваться, или, вернее, если говорить по-музыкальному, репетировать. Появилась убежденность, глаза загорелись, стала, как давным-давно, фанатичной певицей. На городском конкурсе ко дню Победы единогласно не посмотрели ни на какие протеже и блаты, присудили ей первое место. Председатель жюри, главный режиссер филармонии, человек независимый, старой закалки и убеждений, пригласил на работу.

А через год выступала Кукла в Москве на международном конкурсе. Получила главный приз и приглашение — турне по Европе. И пошло, и поехало. Имя загремело. А почему? Да потому, что настрадалась бедняга, жизнь поняла. Петь стала не только голосом, но больше душой, а это совсем другое. Это ни с чем не сравнить. Это как если положить рядышком на солнце ледышку и бриллиант. Ледышка поблестит, сверкнет на секунду и станет лужицей — силы в ней нет, одна поверхность, форма, да и та ненадолго.

Про Ивана Федоровича Кукла не забыла. Через два года приехала. Устроила огромный концерт на главной площади. Его и всех, кто помогал, представила, в первый ряд усадила. После концерта пир закатила. Подарков надарила...

Иван Федорович проснулся, поглядел по сторонам, потом на часы, порадовался за Куклу и снова заснул.

Навстречу шли двое — Кукла и мальчик. Оба счастливо улыбались: «Иван Федорович, а у нас сегодня большое счастье. Наконец усыновили Ванечку. Почти год мурыжили, то те бумажки им подавай, то эти. И вот сегодня мы с Ванечкой их додолбали. Узаконились», — Кукла показала Ивану Федоровичу серьезную бумагу с водяными знаками и печатью.

Год назад в переходе возле торгового центра она услышала ангельский голос. Подошла. Мальчонка лет шести пел. Красиво, правильно. Почти не фальшивил. Рядом в инвалидной коляске сидел здоровый мужик. Собирал деньги. Она заслушалась. Потом выгребла, что было в кошельке, и отдала. Пригласила к себе на обед. Мальчишечка поглядел на мужика, тот зло зыркнул. Мальчишка шмыгнул носом, опустил голову и пробормотал: «Нет».

Кукла, хоть и не от мира сего, а всё про них сообразила. Нахохлилась, будто курица, и потребовала у инвалида документы. Тот начал приподыматься, и, должно быть, через минуту Кукла сама оказалась бы в инвалидной коляске, но появились двое патрульных. Кинулась к ним, и уже те повторили её вопрос. Верзила оказался, естественно, никаким не инвалидом. Началась драка. Патруль вызвал по рации подмогу. Пока происходила потасовка, Кукла подхватила мальца, и они убежали. Дома юного певца накормила, искупала, и он уснул. Во сне вздрагивал, стонал, вскрикивал. Кукла одежонку постирала, погладила, начала штопать и заревела. Поняла, что никому и никуда его не отдаст.

Потом Ваня рассказал, что пела с ним мама. Учила и на пианино, и на гитаре. Что она и отец разбились на машине, что его отправили в детдом. Там начал петь, и всем нравилось. А потом появился этот мужик, назвался родственником и стал его забирать. Вроде как в семью. Ваня даже имени его не запомнил. Брал когда на день, когда на несколько. Заставлял петь в переходах. Деньгами делился с директрисой. Ваня видел. А было Ванюше никакие ни шесть, а восемь лет. Просто ростом маленький, да одет в лохмотья со взрослого бомжа.

Кукла про всё это написала в прокуратуру. Те занялись расследованием, а ей, после того как директрису уволили, новое начальство разрешило бесплатно преподавать

пение в детдоме. Желающих было мало, через недолгое время остался один Ванюша. С ним Кукла и занималась, да так, что вскоре на детском конкурсе занял талантливый мальчик первое место, а детский дом получил на развитие талантов кругленькую сумму. Это и подвело Куклу и Ванюшу. Детдом не захотел расставаться с ценным кадром. Начал тормозить усыновление. Но всё равно получилось! Кукла и Ванюша помахали ему, и пошли дальше, весело напевая про «веселый ветер»...

За окном снова грохотнуло, потом заскрипело, и поехала тележка.

— Куда прешь, не видишь, что ли, убирать надо, а не грязь мазать! Разъездились тут, как на мерседесах, — снова запричитал дворник. — Платют три копейки, а чем свет Санджа убирай. Аллах свидетель, до получки доубираю и уеду.

«Опять Кукла покатила за пузырем, — сообразил Иван Федорович, — куда ж в неё столько влезает». Он во сне зевнул, подошел к окну. Увидел на стекле пятно крови. Понял, что это лопнувший от обжорства комар. Глянул вниз. Там скрипела и полязгивала раздолбанная переделанная во взрослую детская коляска с опухшей от непросыхания Куклой. Пьяный козёл хирург, когда её зимой с переломами привезли, чтобы не заморачиваться и не складывать мелкие кости, оттяпал за пять минут ступню и пошел в ординаторскую допивать спиртяшку и трепаться с молоденькими медсестрами, ржущими от каждого его анекдота...

Иван Федорович быстро пошел в комнату жены. Пока шел, сообразил, что это всё был сон.

Жена вздрагивала во сне. По щеке ползла слеза. «Господи, как же я её люблю, — подумал Иван Федорович. — И за что мне такое счастье. Бросила театр, сцену, успех. Известность. Вышла за меня. За обыкновенного капитана после академии. По гарнизонам ездила. Во всех тмутараканях была. Ни разу не пожаловалась. Когда ранило в Афгане, в госпиталь в Ташкент примчалась. Не отходила ни днем, ни ночью. Выходила. А какого сына вырастила! А я-то, я чего ей смог дать? Господи, да ничего».

Жена проснулась, увидела мужа, улыбнулась, потом заплакала:

— Ванечка, мне такой дурной сон приснился, — она всхлипывала и говорила: — Приснилось, будто мне ноги отрезали, будто я нашего Ванечку от бандитов отбила, потом усыновила, выучила петь. А ещё приснилось, — жена перешла на шепот, — будто ты умер, — у неё снова полились слезы. Она обняла Ивана Федоровича, прижалась к нему, поцеловала. Потом вспомнила, что это всего лишь сон, улыбнулась, сказала: — А как ты думаешь, приедет Ванечка в этом году? Он говорил, что очень соскучился. Но ведь у него постоянные гастроли. Еще бы, с таким-то голосом, — жена вытерла слезы. Гордо посмотрела на мужа: — А ты сомневался, куда ему поступать после школы.

Иван Федорович опустился на колени, прижал к губам ладони жены, уткнулся в них, поцеловал. Потом, чтобы она не видела его слезу, отошел к окну. На стене дома с другой стороны дороги висела реклама с огромным дохлым комаром, опрысканным из баллончика. Во дворе, как обычно, ворчал и шкрябал по асфальту метлой Санджа. Листья запихивал в тележку. Тележка гремела и скрежетала при каждом движении. Детвора каталась с жестяной горки. Тормозили на красный свет редкие авто. На серванте качал головой фарфоровый китайский божок, купленный когда-то давным-давно, когда служили на Дальнем Востоке. Над старым пианино, на картине, скопированной сыном классе в девятом или десятом с открытки, по глинистой дороге через лужи мимо деревенских домишек и зеленых огородов тащила двуколку лошадь, вдалеке дымил паровоз.

— А давай мы к нему. Позвоним и, если на гастроли не едет, возьмем билеты и махнем к Ванечке.